

Александр Куприн

По заказу



Александр Иванович Куприн

По заказу

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472655

Аннотация

«Илья Платонович Арефьев, фельетонист распространенной газеты, ходит по своему кабинету, – от угла кожаного дивана до этажерки с бюстом сурового Шопенгауэра, задевает руками и ногами за спинки стульев и сердится. С ним случилось то, что называется у игроков метким словечком: „заколodило“. Уже больше часа ломает он голову и не может выжать из нее ни одной живой строчки, а на приготовленной для писания бумаге красуются: солдат, стоящий около полосатой будки, лошадиная морда в профиль с удивленным человеческим глазом и несколько кошек, нарисованных с одного почерка...»

Александр Иванович Куприн По заказу

Илья Платонович Арефьев, фельетонист распространенной газеты, ходит по своему кабинету, – от угла кожаного дивана до этажерки с бюстом сурового Шопенгауэра, задевает руками и ногами за спинки стульев и сердится. С ним случилось то, что называется у игроков метким словечком: «заколодило». Уже больше часа ломает он голову и не может выжать из нее ни одной живой строчки, а на приготовленной для писания бумаге красуются: солдат, стоящий около полосатой будки, лошадиная морда в профиль с удивленным человеческим глазом и несколько кошек, нарисованных с одного почерка.

Арефьев – старый газетный волк. Не только юные поэты и почтенные сочинительницы дамских повестей, но и «наши молодые, подающие надежды беллетристы» не без волнения пробегают четверговые номера «Русской почты», в которых Илья Платонович, под псевдонимом «графа Альмавивы», производит еженедельное избиение литературных младенцев. Но эти кровавые расправы не составляют его

специальности. Он одинаково легко пишет о золотой валюте и о символистах, о торговле с Китаем и о земских начальниках, о новой драме, о марксистах, о бирже, о тюрьмах, об артезианских колодцах – словом, обо всем, что он слышит в воздухе своим тонким, профессиональным чутьем. Он раньше всех схватывает на лету, ловит за хвост ту тему, которая еще не сделана сегодня, но сделается завтра всеобщей злобой дня, и тотчас же перед его умом, изощренным в сарказме и гиперболе, вырастают с привычной резкостью смешные, темные и уродливые стороны явления.

До сих пор Илья Платонович не знал никаких технических трудностей своего ремесла. Ему достаточно было только заинтересоваться и овладеть идеей. Он садился к столу уверенный, что слова придут сами собой, и они на самом деле приходили к нему, живые, интересные, хлесткие и остроумные, выливаясь без единой помарки четкими, красивыми строчками на бумагу. Он даже никогда не перечитывал своих фельетонов, прежде чем отослать их с типографским мальчиком в редакцию.

И вот сегодня случилось что-то непонятное. Один видный литературный кружок предпринял в пользу детской санатории издание литературного альманаха. Пригласили участвовать и Арефьева, причем с надлежащей, очень лестной почтительностью дали

ему понять, что от него ждут «чего-нибудь такого, знаете ли, потеплее, что хорошенько расшевелило бы читателя»... Арефьев охотно дал согласие, потом, по обыкновению, забыл о нем, и, наконец, вчера, когда ему деликатно напомнили, что из-за его рассказа задержали печатание книги на два дня, он сделал и последний промах, обещав самым положительным образом прислать рукопись никак не позже сегодняшнего вечера.

Вернувшись в семь часов вечера домой, он, как и всегда, аккуратно зажег лампу с подвижным металлическим рефлектором, поставил ее по левую руку от себя, положил перед собою наискось десть линованной бумаги, даже обмакнул перо в чернильницу – и вдруг с удивлением почувствовал, что ему не о чем писать. Дело другого рода, если бы предстояло написать ядовитый зажигательный фельетон. Тем более что и темы подвертываются самые ходкие. Вот, например, лежит перед Арефьевым последняя книжка «Литературного приложения», где «наш молодой талантливый поэт» с апломбом выдает за свое произведение стихи Тютчева, известные публике еще по хрестоматиям. Не менее заманчив отчет о благотворительном спектакле, устроенном в пользу сирот севастопольских инвалидов, причем чистый сбор выразился в сумме три рубля семь копеек, а на извозчиков для

господ любителей и на угощение их «чаем» потрачено более трехсот рублей. Но, к сожалению, в обеих темах нет ничего такого, что могло бы расшевелить читателя и раскрыть его карман в пользу слабогрудых ребятишек.

А между тем Илья Платонович чувствует, что в его душе зашевелился червячок профессионального самолюбия. Как? Неужели он, Арефьев, не в состоянии написать простого пасхального рассказа, в то время когда самый захудалый репортер, заведующий обыкновенно бешеными собаками и буйными извозчиками, уже, наверно, успел стащить в редакцию, пользуясь привилегиями, существующими для праздничных произведений, какого-нибудь внезапно раскаявшегося ростовщика или старуху, «мирно засыпающую вечным сном под радостный звон колоколов». Неужели, привыкнув в продолжение стольких лет вызывать в читателе насмешливые и злобные настроения, он потерял навсегда способность затрагивать в его сердце чувства милосердия, нежности и тихой радости? Неужели его талант специализировался, утратил самое драгоценное качество – разносторонность?

Арефьев продолжает свою нервную беготню от угла дивана до бюста великого скептика, а насмешливый ум, как будто нарочно, дразнит его, подсказывая ему шаблонные фразы из «дамских повестей», над

которыми он так «охотно и беспощадно глумился в четверговых фельетонах». «Он подошел к окну, прижался пылающим лицом к холодному стеклу, по которому, точно слезы, струились дождевые капли». – «Князь метался взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету, что всегда служило у него признаком дурного настроения». – «Был тихий майский вечер. Солнце садилось, озаряя своим пурпуровым светом окрестность»...

– Хорошо было бы написать рассказ сплошь из таких милых фразочек, – соблазняет Илью Платоновича старая привычка смотреть на все с юмористической стороны. – Да. Так бы и начать: «На башне св. Стефана глухо пробило полночь. Из-за угла невзрачной лачуги показался незнакомец высокого роста. Лицо его было закутано широким плащом. Шляпа с пером и длинная шпага на боку доказывали его благородное происхождение».

Но Арефьев гонит от себя эту предательскую мысль и опять принимается метаться взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету.

– Подожди. Разберемся в этой задаче постепенно, – говорит он сам с собою. – Во-первых, для того чтобы взволновать и умилиť читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и умильťся. Нужно пролить ту самую слезу, которую в дамских пове-

стях проливают, сваливая ее на слитком крепкий табак, старые полковники по окончании чувствительного рассказа. «В комнате воцарилась гробовая тишина. Старый полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернувшись от слушателей. Наконец он выпрямился и, отирая глаза, сказал дрожащим голосом: „Черт побери! Какой, однако, у вас крепкий табак, ротмистр!“ – „А что же случилось с несчастной Заирой?“ – решила спросить, после долгого молчания, дама с палевой розой в волосах. „Она умерла!“ – глухо ответил старый полковник».

– Черт! Какая чепуха лезет в голову! – бранится вслух Арефьев и сердито толкает ногой подвернувшийся стул. – Ведь этак выходит, что я похож на того анекдотического попугая, который не умел ничего говорить, кроме скверных слов. Нет, будем последовательны и разберем спокойно, на какие сюжеты самый большой праздничный спрос. Ну-с, раньше всего, конечно, легкомысленная жена, возвращающаяся к покинутому мужу с первым ударом колокола. «Револьвер выпал из его рук и с грохотом покатился по полу. Он широко размахнул свои объятия, она упала к нему на грудь, и их уста слились в долгом, долгом поцелуе...» Одним словом, долой легкомысленную даму!..

Затем следует солдат, стоящий в пасхальную ночь на часах. «Какая-то черная тень промелькнула на белом фоне тюремной стены, ярко освещенной луной. Часовой быстро, привычной рукой взвел курок и прицелился. Но в эту минуту в воздухе торжественно-гулко разлился первый звук благовеста, и ружье медленно опустилось вниз... Глубокий вздох облегчения вырвался из взволнованной груди» и так далее и так далее. Хорошая история, старая, верная, испытанная... Мимо!..

Что же еще?.. Недурно тоже заморозить на улице нищую девочку, глядящую в ярко освещенные окна богатого дома. «Снег медленно падал мягкими пушистыми хлопьями, засыпая неподвижную фигуру ребенка, на лице которого застыла блаженная улыбка». Впрочем, это из рождественских тем – и потому в сторону.

Илья Платонович подходит к окну и равнодушно смотрит на улицу. Вечер тихий, ясный и теплый; все в нем кажется смягченным, размеренным – и задумчивое небо, и чистый полукруг ущербленного месяца, и тонкие ветки акаций, и контуры громадных темных зданий. В чутком и ленивом воздухе голос прохожих и женский смех отдаются с приятной звучностью, даже колеса экипажей стучат как-то особенно, по-весеннему мягко.

Напротив, через улицу, перед окнами большой кондитерской столпилась кучка оборванных мальчишек. Они никак не могут отвести глаз от выставленных за большими стеклами исполинских баб, размалеванных куличей, сахарных барашков и висящих на ниточках пестрых яиц. Эти мальчишки почему-то раздражают Илью Платоновича.

«Ишь как прилипли к стеклу носами. Ведь вон того, что с колодками под мышкой, наверно, хозяин послал к заказчику-офицеру. А он перед каждым окном зеваёт. Ну и опоздает и получит трепку ради праздника, а потом в газете заметка о зверском обращении. Так тебе и надо, канальский мальчишка!.. Гм... А впрочем, и еще хорошенькая темочка. „Бледный, изнуренный мальчик любит на куличи, выставленные в роскошной кондитерской. Неожиданно появляется на сцену таинственный господин с золотыми очками и непременно в богатой лисьей шубе (вообще удивительную энергию проявляет на святках этот господин!). Завязывается разговор. Оказывается, что „тятка“ у мальчика умер, столетний „дедка“, согнутый в дугу, не слезает с печи, „мамка“ лежит больная, сестренка... ну, и так далее. „Веди меня туда!“ – решительно говорит господин в золотых часах, и через полчаса у мамки появляется хорошее вино и лекарство, прописанное лучшим доктором, дедку накормили манной кашей и

купили ему теплый набрюшник, изнуренный мальчик, „радостно блестя глазенками“, прыгает вокруг стола, на котором красуется недорогая пасха, скромный кулич и десяток красных яиц, а господин в лисьей шубе незаметно скрылся, не сказав даже своего имени, но оставив на столе кошелек, наполненный золотом“».

Часы за стеной глухим, певучим, медленным баритоном бьют девять. Арефьевым вдруг овладевает странная, незнакомая ему до сих пор душевная усталость и непобедимое отвращение ко всем этим изнуренным мальчикам, покинутым мужьям и таинственным незнакомцам. Он лениво валится на широкий кожаный диван и закрывает глаза.

Если бы кто-нибудь поглядел теперь на Илью Платоновича, то, наверно, почувствовал бы жалость к этому злоязычному фельетонисту, к этому «господину насмешнику». Лицо его посерело и точно состарилось сразу лет на десять, на лбу резче обозначились тревожные зигзаги морщин, закрытые глаза глубоко ушли в черные тени орбит, а складки вокруг губ, опустившись вниз, придали рту горькое и брезгливое выражение.

Но Илья Платонович не спит. На него нашло неподвижное состояние полудремоты, полубодрствования и грезы, неожиданно и бессознательно цепляющихся друг за друга. Время исчезло. Стены кабины-

та ушли в далекую мглу, растаяли, и Арефьев живет пестрой, изменчивой, фантастической жизнью, почти такой же яркой, как и сама действительность.

Видит он себя худым, взъерошенным, плутоватым мальчуганом, сыном соборного дьячка в глухом заброшенном городишке. Идет светлая заутреня... Правый клирос битком набит любителями, из которых на скорую руку составил церковный хор приехавший на пасхальные каникулы семинарист, протопопов сын. Вот они все, как живые, стоят перед Арефьевым. Первый тенор, младший чиновник почтовой конторы, в новеньком мундире, за борт которого запущены белые перчатки, блестит своей напомаженной головой и благоухает цветочным одеколоном. Он поет немного в нос, сильно вибрирующим голосом, а когда исполняет соло, то небрежно обтирается спиной о стену, развязно переплетает нога за ногу, закидывает голову назад и томно закрывает глаза. Сам регент, – тонкий, высокий и благообразный, – в очень длинном сюртуке, дирижирует с утонченными манерами, вызывающими общее восхищение. Держа камертон двумя пальцами, а остальные изящно оттопырив, он на нежных местах бережно, чуть заметно для глаза, пошевеливает картинно изогнутой правой рукой, изредка протягивая вперед левую руку с предостерегающим и останавливающим жестом; при этом его лицо с приподнятыми

бровями все сильнее и сильнее принимает удивленное, испуганное и умиленное выражение. Но на местах, требующих форте, он широко и плавно размахивает обеими руками, встряхивает головой, раскачивается туловищем и с угрожающим видом морщит нос и нахмуливает брови. Купеческий сын Ноздрунов, толстый, красный, с вылезшим на шею галстуком, впился в регента выпученными, напряженными глазами и даже весь подался вперед от усиленного внимания. У него нет ровно никакого слуха, но зато он, по выражению сына протопопа, обладает «феноменальным басом», и потому его употребляют, «наподобие тарана», в самых оглушительных местах. Когда такое место подходит, регент оборачивается к феноменальному басу, делает ему страшные глаза и отрывисто, точно прокалывая кого-то шпагою, вытягивает в его сторону руку с камертоном. Тогда Ноздрунов, весь багровый, с надутыми жилами на лбу и с трясущимися губами, испускает рев, в котором на мгновение утопает весь хор.

Ильюшка стоит в первом ряду. Он не сводит счастливых и преданных глаз с лица регента, и ему почти нет времени обернуться на толпу, наполняющую церковь, которая сверху представляется ему как бесчисленное множество голов, огней, однообразных, радостных, светлых лиц.

Обедня кончилась. Причт и за ним хор выходят из церкви святить пасхи и куличи, разложенные рядами в церковной ограде. Весело и неожиданно встречает всех выходящих из церкви сияющее, ослепительное, весеннее утро. Голубое небо, молодая травка, благоухающие почки деревьев, возбужденный крик воробьев на погосте – все это снова приподымает в усталом Ильюшке ослабевшее было от усталости чувство праздника. Он громко пел вместе с хором, с трудом улавливая чужие голоса сквозь ликующий звон колоколов, и в то же время ощущает на себе взгляд народной толпы и потому сохраняет на лице озабоченное, даже несколько хмурое выражение человека, исполняющего трудное, важное и серьезное дело.

А на другой день надо непременно сбегать на колокольню и позвонить. Это, по старому, давнишнему обычаю, дозволяется каждому в первые три дня, и без этого пасха не в пасху. Лестницы, идущие в ярусах колокольни, темны, покрыты пылью и так круты, что у Ильюшки дрожат ноги, когда он, наконец, взбирается наверх. Уцепившись похолодевшими пальцами за перила, он заглядывает вниз. Ух, как страшно, как весело и как необыкновенно! Дома кажутся маленькими и совсем новыми, никогда не виданными. Под ногами в воздухе быстро носятся, резко и радостно вскрикивая, стрижи, кверху кружатся, блестя крыльями, испу-

ганные голуби. Вся колокольная дрожит от неумолчного звука, кричишь и сам не слышишь своего голоса. И эти ощущения так странно и прекрасно смешиваются, что сам не разберешь, кто здесь звонит, кто сияет и кто смеется: голубое небо, колокола или опьяненная восторгом детская душа.

Лежащий на диване человек с бледным старообразным лицом слабо улыбается. Теперь он уже не Илья Платонович Арефьев, гроза юных стихотворцев, талантливый насмешник, презрительно и напряженно жгущий свою жизнь в котле общественных интересов и нездоровых страстей большого города. Он – дьячковский сын Ильюшка, веселый, беззаботный, вертлявый уличный мальчишка, жадно глотающий все впечатления своего могучего полуживотного бытия. И Арефьев на несколько минут испытывает внутри себя чувство такой свежести, чистоты и ясности, как будто чья-то невидимая рука нежно и заботливо стерла с его души всю накопившуюся на ней копоть ненависти, зависти, раздраженного самолюбия, пресыщения и скуки. И кажется ему вместе с Ильюшкой, что с каждым вздохом в грудь к нему вторгается весь праздничный мир красок, звуков и запахов, всегда новых, всегда очаровательных и бесконечно разнообразных.

Но проплывают мимо эти чудные, солнечные дни. Тянутся другие картины, и чем дальше, тем они серее

и печальнее, – длинная история незаглушенных обид, жестокой борьбы за успех и медленного нравственно-го окостенения. Неумолимая память вызывает, наконец, и тот далекий пасхальный вечер, вспоминать о котором так боится всегда Арефьев.

О, как отчетливо все это помнится. Сначала контора редакции, где Илья Платонович получает гонорар за свой первый большой рассказ. Редактор, старый, суровый и чуткий газетных дел мастер, понял, должно быть, что в лице нового сотрудника входит в газету большая, оригинальная и свежая сила. Он только что обласкал Арефьева в своем кабинете, долго жал ему руку и, наконец, – неслыханная до сих пор в преданиях редакций любезность! – сказал дружески фамильярным тоном:

– Рассказ ваш пойдет завтра. Но если вам нужны деньги, пожалуйста, без стеснения. Если угодно, мы вам можем выдать гонорар по корректурному листу.

Еще бы, не угодно! Арефьев и сам только что собирался попросить «рубля три авансом». Там, в громадном доме, набитом разной беднотой, чуть ли не на чердаке его найдут теперь с замиранием сердца женщина и ребенок. Там сидят в темноте, положительно не на что купить керосину, там продали сегодня утром единственный серый теплый платок, чтобы сварить обед, там квартирные хозяева, дворники, нищета

и озлобление. Прыгающей рукой расписывается Арефьев на талоне, в то время как кассир, коротенький, толстый, самоуверенный и вечно недовольный старик с лицом обиженного попугая, придвигает к нему пачку бумажек, придавленных сверху кучкой серебра.

Да, это была тяжелая пора в жизни Ильи Платоновича, неудачная, голодная, вся сплошь состоящая из бешеного хватанья случайных кусков вроде уроков, переписки, вечерних занятий. Но отчего же они с женой несли тогда так бодро свое каторжное бремя, без ропота, без отвратительной горечи взаимных упреков, часто даже с гордой, молодой, вызывающей насмешкой над судьбой? Отчего же потом, когда эта судьба наконец милостиво улыбнулась им и Арефьев такими большими шагами пошел по пути известности и обеспеченной, даже комфортабельной жизни, – отчего распался и рассыпался их душевный мир, превратясь в пустое загрязненное место? Не оттого ли, что со смертью ребенка исчезла та крепкая, хотя и болезненная связь, которая единила их сердца?

Станный и печальный был этот ребенок. На нем как будто бы целиком отразились вся нищета и убожество, среди которых он был зачат. Начиная с года, он перестал расти. Росла только его голова, огромная, пухлая, точно налитая какой-то бледной, нездоровой жидкостью; но тело оставалось таким же жал-

ким и слабым, а тоненькие, как сухие веточки, руки и ноги бессильно висели, не развиваясь и не становясь крепче. Хороши у него были только глаза, большие, кроткие и печальные, такого удивительного цвета, которого, по выражению Гейне, не бывает ни у людей, ни у зверей, а лишь изредка у цветов. Осужденный на вечную неподвижность, он с неестественным терпением переносил свои постоянные болезни. Любимыми разговорами этого всегда серьезного, вечно задумчивого мальчика были разговоры о боге, об ангелах, о мертвецах, о похоронах и о кладбищах. Он точно знал, что скоро умрет, и никогда не улыбался.

Ах, как мучительно подробно вспоминается Илье Платоновичу этот пасхальный вечер, когда он вошел в комнату, до того нагруженный кулками и бумажными картузами, что принужден был локтем открывать дверь. А сзади него дворник, уже задобренный и потому снисходительный, благосклонный и улыбающийся, нес свертки, которых не мог захватить с пролетки сам Арефьев.

Какая радость была в этот святой вечер в маленькой каморке на четвертом этаже. Разрезали три свечки на половины и зажгли все шесть кусков – безумная роскошь. На бензинке (о ней раньше и мечтать не смели) жарились готовые отбивные котлеты и варился настоящий «кофе мокка». На столе стоял большой

кулич и большая пасха для взрослых и малюсенькие для мальчика. Илье Платоновичу не сиделось на месте. Он ходил перед Гришей на четвереньках, представляя медведя, прыгал лягушкой и, в роли злой собаки, с рычанием делал вид, что кусает теплую грудку ребенка. Он точно опьянел от непривычных ощущений сытости, тепла и довольства, а главное – от первого литературного успеха, всю ядовитую сладость которого даже и представить себе не может человек, не испытывавший его.

Даже и Гриша улыбнулся в первый раз в своей маленькой жизни. Он протянул ручки к картонному херувимчику, водруженному на куличе и парившему на одной ноге, и с лицом, сделавшимся неожиданно прекрасным от светлой улыбки, прошептал:

– Ангелок! Ангелок!

Боже мой, где они теперь? Жену Арефьев видел три года тому назад в Ницце с каким-то подагрическим старцем необыкновенно благородного и изношенного вида. А Гришу взяли к себе ангелы, которым он так радостно улыбался...

Илья Платонович, точно его подбросили, вскочил с дивана. Лицо его было мокро от слез, но он их не стыдился, потому что они дали ему на несколько минут чувство давно не испытанной, глубокой человеческой скорби, очищавшей и смягчающей сердце...

Пройдясь по комнате, он заглянул в окно. По-прежнему у окон кондитерской толпились оборванные ребята, топая озябшими ногами. И ему вспомнилась та злоба, с которой он только что иронизировал над «исхудалыми мальчиками» и «таинственными господами в золотых очках!». Но теперь уже не раздражение, глядя на них, почувствовал Арефьев, а тихую, нежную, родственную жалость.

«Все мы, – подумалось ему, – так или иначе – бедные, исхудалые, брошенные дети, и как ужасна должна быть жизнь, если совсем потерять веру в таинственных добрых незнакомцев!»

И встали в его воображении все эти беспомощные детские фигуры, мерзнущие на чердаках, дрожащие в промозглых подвалах, бегущие на улицах с назойливым «Христа ради» за прохожими, эти чистые души, которым озлобленные жизнью взрослые прививают свои пороки, мерзость и вечную ложь; девочки, едва научившись говорить и уже составляющие предмет гнусной торговли, малолетние преступники, воришки и пьяницы; наконец, несчастные уроды – горбатые, рахитические, идиоты, эпилептики, разбитые и исковерканные с колыбели наследственными болезнями. И тогда в уме Ильи Платоновича вдруг явственно прозвучало величественное изречение Сакья Муни, воплотившее в себе человеческую мудрость всех веков

и народов: «Кто осушил слезы на лице ребенка и вызвал улыбку на его уста, тот в сердце милостивого Будды достойнее человека, построившего самый величественный храм».

Илья Платонович уже второй час сидит, не отходя от стола, и из-под его пера с привычной быстротой бегут четкие строки. Он еще и сам не знает, чем закончить эту статью, озаглавленную «Улыбка ребенка», но он чувствует, как сладко и жутко шевелятся у него корни волос на голове и как по его спине пробегает давно позабытый озноб вдохновения. И все время стоит перед его глазами уродливая голова, озаренная неожиданно радостной улыбкой.